Во весь голос говорило радио. Сообщали, что дожди с грозами проходят надо всем материком. Сообщения перебивались ликующей музыкой, затем торжественный голос диктора констатировал повышение уровня воды.

За окном был слышен шум ливня. Вторая скрепка была написана очень убористым почерком, многие места разбирались мною с трудом, некоторые пришлось просто пропустить. Видимо, где-то посередине рукописи я задремал, и видение с посещением Икса и портретами мне приснилось, так как во второй раз я его не обнаружил.

Я попробовал включить свет, и свет внезапно загорелся, стало ещё светлее, хотя и так было уже утро. Значит, снова работают все гидроэлектростанции, то есть потекли реки. Капнуло мне за ворот, я взглянул на потолок, он протекал во многих местах.

Я не стал гасить свет, взял старую пустую линзу для старинного телевизора, наполнил её новой водой и стал просматривать сквозь неё неясные места в рукописи.

В главе об Осландии я разобрал, что, благодаря контрастно-профильному наведению, прежде всего были устранены специалисты широкого профиля.

В козландской версии стало возможным прочесть абзац о телеграфе. Карлики требовали от Великанов создания беспроволочного телеграфа, так как проводную связь на высоте их роста Великаны могли подслушивать. Карлики свято верили в то, что способны говорить такие вещи, которые интересно кому-то подслушивать.

Ещё Карлики изобрели гномон, но не как солнечные часы, – они были счастливы и часов не наблюдали, – а как научное доказательство бытия солнца, которое долгое время было для них сомнительным, так как они отбрасывали карликовые тени и жили в тени Великанов.

В главе о Кирилле я прочёл о его раздумье перед тем, как двинуть вперёд своих соратников. Его тоже занимало солнце. Рано утром он принял его за зловещее знамение — за красный светофор, говорящий о том, что пути не будет. К полудню светофор пожелтел, и Кирилл, не ожидая, когда тот даст зелёную улицу его движению, ринулся вперёд, увлекая за собой революционные массы.

Некоторые другие места я и при этом увеличении не понял. Затем меня отвлёк звонок в дверь.

Я радушно распахнул дверь и увидел соседей снизу, мокрых, но почему-то недовольных. «Спуститесь, пожалуйста, к нам», – довольно сухо пригласили они. Я спустился.

Соседи, не то муж и жена, не то двоюродные братья, молча показали на свой потолок. На нём образовались причудливые разводы.

Я давно не видел такой картины. Пятна, голубоватые, наплывали на тёмно-синие, оживляя монотонную сухую желтизну. На границах наплыва выступала прозелень. Из центров каждого такого пятна капали крупные капли, медленно, казалось, что они со временем образуют великолепные сталактиты.

Братья протянули мне лист бумаги и предложили подписать. Возможность подписать какой-то документ, дать автограф и т. п. – вряд ли следует упускать. Ещё могут подумать, что ты неграмотен. Я машинально подмахнул, а потом из прирождённого интереса к чтению прочитал:

AKT № 1

Мы, нижеподписавшиеся, сообщаем, что наш верхний обитатель, ведущий весьма неопределённый образ жизни, стал видимой причиной появления на нашем потолке радужных пятен, явно сырого происхождения. Исходя из этого, обитатели нижнего жилого помещения могут заявить, что сверхживущий обитатель хранит секретно запасы дефицитной сегодня воды.

Порча потолка дополнительно ко всему оценивается в 1 руб. 07 коп., исходя из квадратного метра помещения.

Постановили: взять с потолка требуемую сумму, так как она является полом вышеупомянутого жильца.

Нижеподписавшиеся:

Комендант: Квартетов

Свидетели: Козлов,

Косолапов, Мидасов.

Один из братьев, оказавшись женой, женским голосом стал перечислять доводы.

Во-первых, мы деловые люди. Во-вторых, деньги небольшие, гроши. В-третьих, как только я их внесу из рук в руки, делу ход прекратят, а то известно, как у нас за укрывательство воды. И в-четвёртых, они понимают, что согласны, если я даже в рассрочку.

Здесь до меня дошло, что они ещё не были на дворе и не включили радио. Я пообещал в рассрочку и вернулся к себе. На моём полу блестели лужи.

Позвонил Кроватьев и сообщил печальную новость. Вчера вечером было очень тревожно, а отряды милиции на верблюдах имели в своём снаряжении багры и крючья, некоторые верблюды были навьючены мешками с песком. В условиях зноя пожарно-спасательные работы сводились к разборке очага пожара и составлению акта о происшедшем. Затем место происшествия засыпалось песком.

Позже мне приходилось слышать, что редакцию «Скважины» поджёг поэт Померещенский, которому там твердили, будто его стихи никого не зажигают и не греют. Другие поговаривали, что редакцию подожгла сама редакция, чтобы очиститься от затопивших её графоманских сочинений.

Я же расстроился из-за Первой скрепки. Недаром на последней странице «Скважины» извещалось: «Рукописи, не дошедшие до читателей, к авторам не возвращаются».

Между тем прибывала вода.

Прошёл почтальон на ходулях, я хотел было спуститься за газетой, но ящик был уже под водой. За окном проплыл бильярдный стол с группой товарищей, которые киями отталкивались от зданий, на которые их выносило.

Очень чётко работали Силы самообороны. Радио передавало, что они успешно выполнили операцию под кодовым названием «Дед Мазай». За окном промчались несколько амфибий, подводная лодка прошла под РДП, ворочая перископом. Следом в антикварной гондоле проплыл поэт Померещенский. Он грёб гитарой, подаренной ему, согласно легенде, самим Окуджавой, и пел серенаду собственного сочинения: «Идут белые дОжди». Завтра серенада появится во всех газетах.

Я сидел уже по колени в воде, составляя акт № 2. Я упомянул, что, в связи со злостным укрывательством воды, мои соседи снизу затопили мой пол посредством потолка, так как пол паркетный, исходить следует из расчёта 2 руб. 50 коп. за кв. метр. Акт подписали комендант, привязавший себе к поясу два пустых самовара, и свидетели с моего этажа. Свидетели после подписания удалились стилем баттерфляй, они были почтенные люди.

Я достал из фамильного сундука старинный акваланг, сдул с него пыль и, облачившись, нырнул к нижним соседям с актом в целлофановом пакете.

Совершил я этот акт как раз вовремя. Словно рыбы у стенки аквариума, сидели соседи, прижавшись лицами к телевизору. Шёл футбольный матч где-то в горном районе материка, футболисты ещё только переходили на водное поло. Соседи сидели под пустыми аквариумными пузырями, внутри которых ещё оставался воздух, пригодный для дыхания. Соберись я с актом чуть позже, и они бы уже задохнулись, так как до конца матча оставалось ещё минут десять, а воздуху хватило бы едва на три минуты. Когда я вынес их на поверхность, они ещё долго возмущались, так как наши ещё могут забить, но, в конце концов, подписали акт и поблагодарили.

Позвонили из пятидневки и успокоили, сказав, что все потомки в полной безопасности: детсад находился в деревянном доме, и теперь этот дом всплывает вместе с водой, сохраняя водонепроницаемость. Надёжность его велика, так как он разделён на водонепроницаемые переборки, поставленные в целях борьбы с эпидемиями гриппа ещё в пору существования обычного гриппа.

По радио передавали песню «Вода, вода, кругом вода...».

На крыше соседнего дома забегали любопытные: на горизонте появился неприятельский флот, авианосцы и подводные ракетоносцы, но скоро дали отбой, оказалось, что команды неприятеля ещё не успели занять свои корабли.

В воздухе пахло грозовым озоном, странно было только то, что вода прибывала, хотя дождь давно прекратился. Где-то вдали, правда, погромыхивало, то ли гроза, то ли топили ещё чей-нибудь неожиданно всплывший неопознанный флот.

По телевидению передавали уроки плавания, показывали, как смастерить катамаран или лёгкий плот из малогабаритной мебели и сделать весло из торшера. Выступил старенький врач-пенсионер с воспоминаниями о водолечении по доктору Кнайпу. Надо срочно обтираться сырой соломой всем, у кого жар, потеет лоб и холодеют конечности. Куплетисты в купальных костюмах исполнили остроумный дуэт, зерном которого был забытый обычай, согласно которому воду можно пить не закусывая.

Было ясно, что русская культура не погибла.

Внезапно позвонил Федя из новой редакции «Скважины», переведённой в бывшую пожарную каланчу:

- Старичок, ты жив?
- Жив, неуверенно ответил я.
- Не очень промок?
- Промок, но терпимо.
- Ну, я тебя поздравляю!
- Спасибо, я тебя тоже, вежливо вернул я не совсем понятное поздравление.
- Меня не с чем поздравлять, у меня всё, что надо, сгорело! А твоя рукопись осталась единственной уцелевшей после пожара в редакции. Она же как была сырая, так и осталась!
 - Вот как! я искренне обрадовался.
- А сейчас я сам пробежал её глазами, раз уж это у нас пока единственная рукопись, так вот, у меня на этот счёт соображения есть. У тебя это всё, что ты нам дал?
 - Есть дальше.
- Ты бы, вот, подгребай в любое время! Я сейчас безвыходно здесь, мы все как на посту. Такое положение, пока домой доберёшься, опять на службу пора. Так что в любое время! Договорились, добро?
 - Добро, ответил я.
- «Утро вечера мудренее», решил я, закупорил поплотнее все входы и выходы и прилёг на надувном матраце. Шум воды убаюкал меня.

Мне снились страшные личинки стрекоз, которые выходили на сушу, и из них, словно из скафандров, застёгнутых на молнии, вылупливались изящные стрекозы с прозрачными крыльями, они

взлетали над водами, кружились, делали фигуры высшего пилотажа, а из воды следили за ними молчаливые рыбы, они поворачивались, как радары, за чертежом полёта, их бесцветные глаза были похожи на мутные икринки, из которых должно было выйти всё небо, со звёздами, стрекозами, вертолётами и облаками.

Потом стрекозы, так же как до этого их скорпионообразные личинки, исторгали из себя новых скафандроподобных существ, которые падали прямо на рыб, и рыбы уже разевали свои мелочные пасти, но летящие всё летели и не долетали, росли в полёте, их шлемовидные головы начинали раздуваться, менять очертания и, наконец, вспыхивать огромными парашютными куполами, и купола несли их уже не вниз, а вверх, уже рыбьи чешуйки слились с рябью воды, вода переливалась под лучами близкой звезды, пока не ослепла, подёрнувшись плёнкой тумана, сквозь которую различалась только слабая граница между морем и сушей, а скоро и она растворилась, и в сфере видимости осталась тусклая икринка планеты в воздушной оболочке, затем острый блик звезды в чёрном просторе, и вот уже равнояркие звёзды, зовущие покалывания пустоты, заполнили всё и сковали мне тело.

Я понял, что это я лечу, не похожий на себя, чужой, но чужой потому, что был чужд миру, в который так неожиданно проник и только ещё начал думать о том, каким образом буду в нём приживаться. Лёгкий фронтальный удар в нос прекратил все мои попытки как-то выровнять полёт, ясно, что и высота имеет предел.

Я проснулся и почувствовал, что моё одеяло затвердело, и попытался его откинуть. Оно не откидывалось, а я стал тонуть и вспомнил, что спал на надувном матраце. Нащупав настоящее одеяло (пододеяльником ему служил целлофановый мешок), я догадался, что твердь, на которую я наткнулся носом, была потолком: за ночь вода прибыла, несмотря на все мои попытки создать герметичность в комнате.

Проплыл на кухню к холодильнику, но открывать его не решился. Некоторые продукты, оставленные на столе, зацвели. Я решил, что настало подходящее время для лечебного голодания, — тем более при появлении необходимой для этого воды. Это сбережёт мне массу времени, необходимого для раздумий, а также выведет из организма вместе со шлаками все залежавшиеся и не способствующие здоровью и долголетию глупости и заблуждения, накопившиеся за годы беспорядочного общения и постоянного обмена мнениями с кем попало.

Я решил незамедлительно последовать приглашению – «подгрести» в редакцию «Скважины». Рукопись надо у них забрать, место ненадёжное.

И я вынырнул через форточку.

К приёму воды всё было хорошо подготовлено. Не то, что было, когда началась засуха. Засуха наступала постепенно, и никто не хотел верить, что она затянется. Чутко реагировала только мода – сразу стали носить мини-юбки и туфли на платформе, чтобы не жгло ноги.

Труднее было со средствами передвижения. Автомобили вышли из употребления – нельзя было осуществлять водяное охлаждение. Но их продолжали покупать благодаря покупательной способности. Многие прятались под ними от жары, делая вид, что ремонтируют мотор.

Уже потом, хватившись, занялись верблюдоводством, выведением гигантских черепах и прочими насущными хозяйственными проблемами.

Сейчас всё шло веселее. Из окон высовывались удочки, некоторые объединились в артели, орудующие сетями из занавесок. Был клёв. Любопытно. Ведь если эта вода атмосферного происхождения, то откуда в ней рыба?

На административных зданиях своевременно вывешивались лозунги: «Берегите дельфинов – они наши братья по разуму!» Это доходило не до всех и не сразу – какие там братья по разуму, ведь они нас не ловят, не догадываются! Появились и плакаты по технике безопасности: «Не подходите к электрическим скатам без галош и резиновых перчаток!» Ниже был изображён не то скат, не то луна-рыба с надписью: «Не влезай, убъёт!» Но самым важным было следующее предупреждение: «Нырять в городе и за его пределами воспрещается».

Началось строительство свайных городков для научно-исследовательских учреждений, срочно эвакуированных из подвалов.

Новая редакция «Скважины» была видна издалека, это была старинная колокольня, расположенная на возвышенном месте, потому её и превратили в своё время в пожарную каланчу. Теперь было ясно, что опасность пожаров миновала, и погорельцы по праву переселились на высоту.

Не снимая ласт, я пятился по коридору, разыскивая Федин кабинет. Федя, как и прочие сотрудники, сидел, положив голые ноги на стол.

- Официально разрешено, - довольно доложил он, - чтобы не заболеть ревматизмом.

Вошёл ещё человек в тельняшке и болотных сапогах.

– Мы пока ещё поработаем, а ты посиди немного, – сказал мне Федя. – Да ты разувайся, будь как дома!

Я снял ласты и присел. Воды здесь было немного, едва до колен. Начальство этажом выше уже совсем не чувствовало тех забот, которыми жило большинство.

Федя работал с человеком в тельняшке:

– Так хорошо... Тут стиль... Всё верблюды, верблюды... Знаешь, сколько синонимов для верблюда у арабов? Больше сотни! Так и ты – ты язык обогащать обязан. Напиши здесь хотя бы – не верблюд, а дромадер... Что? Дромадер одногорбый? Так ты это и подчеркни, что не только с двумя горбами, но и с одним хорошо работать можно. Да ты не спорь. А мираж, давай, совсем выкинем. Как красоты не остаётся? В мираже, что ли, красота? Красота в сердце пустыни, вот, товарищ говорил... А это тоже к чёрту – верблюд может работать и не пить, это устарело, сейчас можно уже и пить и работать.

В дверь просунулась секретарша и заявила:

- Поступило указание, пустынные материалы завернуть.
- Как завернуть?! в один голос воскликнули Федя и человек в сапогах и в тельняшке.
- Так завернуть, холодно отозвалась секретарша. Есть указание развернуть соответствующую кампанию по прививанию населению любви к морю.

И она уплыла на своих платформах.

Наступило натянутое молчание. Потом Федя произнёс:

- Ты сам понимаешь, сейчас это неактуально, и наверху это поняли. Не глупее нас с тобой. За командировку ты отчитался, считай, всё в порядке. Видишь, как нас жизнь обгоняет! Давай-ка подумаем: чем всё это заменить можно. Ты же, кажется, был очевидцем появления воды?
 - Ещё бы, буркнул в сапогах и в тельняшке.
 - Событие какое-нибудь описать можешь?
 - Могу, как же, я с морским ежом...
 - Погоди ты с ежом! Ты скажи, как народ встречал?
 - А народу никого не было. Я один был. А тут ёж...
 - Какой ёж, противотанковый?
 - Сам ты противотанковый. Я же сказал морской ёж.
 - Ну и что?
 - Как что? Он на меня. Он же меня в первый раз видит.
 - А ты?
 - И я его в первый раз вижу.
 - Ну и что?
 - Ну, он на меня, конечно...
- Что из тебя тянуть всё надо! Давай выкладывай! Ты, быть может, так сказать, пионер мирового океана, а двух слов связать не можешь! Давай выкладывай!
- Ну, он на меня, я от него сначала. Потом вижу, вода всё подступает, далеко не убежишь. А он иглы, как рапиры, выставил и шипит. Тут я и запустил в него пробковым шлемом. Он съёжился и уплыл.
 - И всё?
 - Тебе бы такое всё, кабинетный писатель, рассердился в тельняшке.
 - А кто видел? невозмутимо допрашивал Федя.
 - Дромадер видел!
- Дромадер наблюдает борьбу Дормидонта с гигантским ежом! Неплохо. Только трудно придать этому гражданское звучание. Да и не видел никто, кроме дромадера.

Тем временем у меня уже затекли ноги, но спускать их я не стал, а покашливанием напомнил о своём существовании. Федя прервал размышления, показал на своего собеседника пустой трубкой (табак всюду промок, и курить временно бросили) и представил его мне:

– Наш внештатный корреспондент Дормидонт Хокусайло.

Мы кивнули друг другу головами. Теперь Федя протянул ко мне свободную руку ладонью вверх:

- Принёс?
- Принёс, вот только зачем, не знаю.
- А я объясню. Во-первых, старичок, ты нам очень поможешь. Сейчас нет рукописей и ещё долго не будет в связи с создавшимся положением. А у тебя, говоришь, готово. Вот мы и отдадим твою рукопись ребятам, сам понимаешь, им работать надо. Во-вторых, что-то мне в ней показалось. Там всё какие-то художества смывали. Вот мы в новом помещении. Там, где начальство, там ещё какие-то художества остались. «Страшный суд» называется. Это и антинаучно, и по отношению к начальству антихудожественно. Было ещё кое-что внизу, но уже само собой отмокает. А это надо бы смыть, а на месте их повесить хорошие портреты известных величин, светил в области нашей культуры. И подумал, нет ли у тебя в продолжении каких-то руководств по смыванию. Смывали, а как? Просто водой? Вода не все краски растворяет.
- А зачем же смывать страшный суд? Можно просто на это место величин повесить. Тем более что они меняться могут.
- Так не пойдёт, запротестовал Федя, из-за них будут грешники выглядывать, и что того хуже черти. Чертей же нет в природе.
- В природе, говорю, нет, а у вас на стене ещё остались, жалко истреблять, может быть, они существа реликтовые и их сохранять надо!
- Пока таких указаний не было, старичок, наоборот, там же пекло изображено, а с пеклом у нас покончено, жизнь ключом бьёт! Так что давай рукопись, а мы разберёмся, и с тобой заодно тоже, консультацию дадим, тебе же интересно. Договорились?

Мне ничего не оставалось, как согласиться. Я забрал Первую скрепку и отдал Вторую и Третью, а также приложение ко Второй. Третью я прочитать ещё не успел, а приложение пробежал глазами уже здесь, сидя в редакции. Оно шло сразу за Второй скрепкой, а во время моего первого чтения это была просто пустая бумага. Но чернила, которыми на ней писали, были, видимо, симпатическими, знаки исчезли, когда рукопись просохла, а здесь, в редакции, отсырела снова, на что я обратил внимание, перелистывая пожелтевшие листы. На сырой бумаге я прочёл название: Описание эксперимента, произведённого в Осландии с целью изучения пустоты, наполняющей голову.

В 17.00 по рабочему времени старшему информанту Упину была запущена в рот муха. Упин захлопнул рот и открыл глаза. Перед его глазами собрание шло своим чередом, и Упин просидел его до конца с закрытым ртом и вытаращенными глазами, в то же время он каждый раз голосовал «за».

Когда Упин шёл домой, его шатало. Муха слепо летала внутри, и, когда она ударялась в левый бок, Упина шатало влево, а когда она ударялась в правый бок, Упина шатало вправо. Упин искал в себе ритм, способный сдвигом по фазе погасить неистовство мухи. Он боялся внезапного появления дружинников, ибо те могли его принять за пьяного гражданина и принять меры.

Муха несколько угомонилась и стала медленно расхаживать по сердцу старшего информанта.

Вот она остановилась где-то на экваторе сердца, и Упин ощутил давно угасшую страсть к Музе. Муха двинулась к верхнему полюсу – переход к безоблачным отношениям с Варей. Муха потопталась, потопталась, свернула с меридиана на тридцать градусов, и у Упина защекотало самолюбие, ущемлённое три года назад продавщицей овощного магазина, имени которой он не помнил. Муха резко сдвинулась вниз, и ожили весна високосного года и тёплые южные дни, проведённые с Каблуковой. Но муха не засиделась на весне и начала разворачиваться по спирали Архимеда. Вера, Надя, Люба. Упин верил, надеялся, любил. Вдруг он осёкся — муха взгромоздилась на самый полюс сердца и застыла, подобно памятнику полководцу на лошади. А Упина пронзил безотчётный страх перед Главным информантом Полоупиным, мелькнула его любимая зловещая фраза: «Хапай, Жора, воздух, Крым проезжаем!» Пот выступил на челе и на шее старшего информанта.

Но, к счастью, муха вспорхнула. Она пробилась сквозь застывшие облака «Казбека» и «Памира» в трахее Упина и, одурев, ринулась ввысь, в менее плотные слои внутреннего мира Упина – в его голову.

Снаружи это была обыкновенная голова, поросшая жёсткими волосами, только посередине ктото уже вытоптал маленькую полянку. С боков к голове крепились жёстко уши, нос выдавался именно там, где было положено, всё прочее также никого не смущало. Это было известно Упину из зеркала.

Внутри же голова представляла собой чёрный ящик. Или произошло взаимодействие прибора с объектом, порождающее неопределённость, или внутри царил определённый дух, из-за чего с ней случилось нечто парализующее, но во всяком случае с этого момента Упин не ощущал её присутствия.

Выводы таковы: запуск в голову мух с целью использования средств самонаведения по мухам не представляется целесообразным в связи с ассимиляцией мухи внутренностями головы.

Руководитель опыта, старший сотрудник головного розыска Урюпин.

Вошёл шеф Прохоров, пожал мне руку, кивнул Дормидонту и сказал Феде:

- Всплыли новые факты...

Я не стал мешать работе и, стараясь не поднимать большой волны, удалился.

Дома было всё без изменений, зазор воздуха между потолком и уровнем воды не уменьшился. Позвонили из детского сада и успокоили, что потомков в конце этой недели брать не надо, в связи с создавшимся положением все переходят на временную автономию.

Потом позвонил Федя, сообщил, что всё идёт хорошо, рукопись уже рецензируется, и заодно поделился новостью: жена известного сатирика, который только что отплыл на канонерской лодке за материалом, сбежала от него с... осьминогом. Сам сатирик в горе вернулся с полдороги на попутном немагнитном судне, по дороге размагнитился совсем, дома слёг на понтоне из кислородных подушек. Временами звонит знакомым и жалуется, что у него всего две руки, всего он достать не может, а у этого, говорит, этих штук — восемь. Тут Федя опять чему-то обрадовался и добавил:

- А осьминог этот с ней как в воду канул.

Ответы на сей раз пришли очень скоро, видимо, рецензенты работали не просыхая. Первая рецензия была такова:

«Рукопись начинается ни с того ни с сего. Вдруг появляются страны, которых нет ни в одном атласе. Населены эти страны животными, действия которых простейшие арифметические, но автор этими действиями пользуется неверно. У него Иксы складываются так, что получается единица, тогда как должно получиться 2X. Ещё автор унижает Карликов, не задумываясь о том, что так он бросает тень не только на многих наших равноправных обитателей, но и на известных Карлов (Карл Каутский, тем более, Карл Великий!).

Изображённые превратно люди у автора почти ничего не говорят другу, ничего они не говорят и читателю. Зато медведь говорит, хотя известно, что понять медведя можно только через переводчика-поводыря. Но переводчик в рецензируемом сочинении появляется только для общения с... водолазами! И это говорится тогда, когда мы все как один стали образцовыми водолазами, и никаких переводчиков нам не требуется. Сам же автор не скрывает того, что в самые решающие моменты он как бы прячется в собственную скорлупу, спасая свою шкуру.

Живя в выдуманном мире, автор саморазоблачается, когда пытается писать реалистично. Здесь сразу бросается в глаза, что он своих современников не читает. Вот у него некто, названный Фаэтоном (тип автомобиля), спасает обитателей. Но на эту тему уже есть известные строки поэта Померещенского:

Растёт такая смена, Какой не знали встарь. Спасая джентльмена, Погиб один хиппарь.

Что особенно возмущает, это три абсолютно пустых страницы, вложенных в рукопись, на одной из которых едва разборчиво (а читал я при свете подводного электрокамина) можно было прочесть: "описание эксперимента с целью изучения пустоты, наполняющей голову". Благодаря этому "эксперименту" мы впервые находим в конце пустой третьей страницы фамилию начинающего автора: Урюпин. Урюпин пишет, что какие-то непромокаемые исчезли в воде, а потом исчезла и вода. Все исчезли, и только автор вышел сухим из воды!

Одно только прямо-таки бесит – где автор взял бумагу, когда мы, настоящие труженики пера, вынуждены сегодня исписывать собственные потолки, мужественно ожидая, когда наладится снабжение писчебумажными материалами.

Хочу ещё выразить удивление, откуда у автора многочисленные домыслы о каких-то ослах, козлах и косолапых мишках, когда он не нашёл ни одного доброго слова в адрес верблюда, ещё недавно бывшего единственной опорой в нашей жизни. Отсюда вывод: если автору не дорого наше прошлое, то и о сегодняшнем дне ему нечего сказать.

По поручению редакции "Каланчи" Член ИСС Д. Хокусайло».

Ну вот, порадовался я, Хокусайло дали подработать. Ему не так-то просто переквалифицироваться из пустыноведа в гидромелиораторы.

Я раскрыл вторую рецензию:

«С самого начала меня не оставляло чувство, что нечто подобное я уже читал. Немудрено, что наш автор даже не ставит свою фамилию под произведением, настолько он сам сознаёт свою безликость.

Единственный, кто как-то по-своему отразил быт водолазов в литературе, это Зощенко. Правда, у него водолаз действует на суше, и это не позволяет ему окончательно раскрыться. У нашего автора водолазы хотя и в своей стихии, но они вместо того, чтобы раскрыться, разлагают свою воду. Из того, как они это делают, можно заключить, что автор весьма слабо знаком с химией.

Неважно у него обстоит дело и с зоологией, ветеринарным делом и прочими весьма естественными науками. Эти пробелы автор пытается скрыть, выставлял напоказ свои элементарные познания в области элементарной алгебры. Все эти штучки с иксами и игреками неуместны при описании серьёзной проблемы водоснабжения, к которой сам автор относится пренебрежительно и поверхностно, — он то и дело всплывает, вот почему в этом очерке нет должной глубины.

Чувствуется явный фрейдистский душок. Сплошная сублимация уретральной эротики. Вода здесь не просто необходимая для жизни существ субстанция, а нечто отработанное, ненужное, то, от чего избавляются. Даже скважину специальную бурят! Так, прозрачный колпак символизирует мочевой пузырь, скважина — уретру. Отсюда ясная интерпретация повторяющегося мотива смывания посредством струи. Сам автор помещает себя внутрь другого прозрачного пузыря, меньших размеров. Чудовищное совмещение Эдипова комплекса с какой-то жуткой внематочной беременностью! Автор как бы внедряется в материнское начало и мстит внедрившему его внутрь мужскому началу (непромокаемым, водолазам).

Вот как могут быть превратно отображены наши последние достижения в области обводнения! Образ медведя сослужил автору явно медвежью услугу, так как он не удался полностью. Психология животных не такова, чтобы вести себя подобным образом в обществе, да и социология общества не такова, чтобы иметь предпосылки для ассимиляции медведей. Наверное, данная пьеса чисто автобиографическая, и творческую историю её появления можно проиллюстрировать басней:

Медведь всеми четырьмя лапами
Стоит на почве реальной жизни,
Ловит рыбу в самой гуще событий,
Идёт напролом к своей единственной цели,
Разоблачает публично липовость мёда,
Отражает по-рыцарски мелочные уколы,
Деловито с лета готовит себе прижизненную берлогу
И всю зиму высасывает из пальца
Правдивые повести о страшных охотниках
До его единственной собственной шкуры.

Вызывает негодование метущийся образ, условно названный Фаэтоном. Он не может найти применения своим сверхъестественным способностям ни в одной стране. А наш материк? О нём этот "гений" не знает, зато и читателю нашего материка этот "гений" неинтересен.

То же, что могло бы представлять интерес для читателя, никак не прояснено. Автор пытается создать свою версию возникновения летающих тарелочек, виденных рядом наших ведущих писателей в районе Тарусы. Но он даже не пытается называть вещи своими именами, они у него так и остаются под названием "колпаков". Поневоле почувствуешь себя околпаченным!

Из этой же версии следует объяснение появления снежных людей в горных районах нашего материка. Кстати, встречи со снежными людьми должны сейчас участиться в связи с уходом части населения в горные районы. И мы должны думать о возможных контактах, думать о том, каков он, современный снежный человек, это важнее, чем проблема его вознкновения.

Во всяком случае эти версии могли бы быть любопытными, их можно переработать и попытаться опубликовать во "Многой мудрости". В этом журнале мне уже приходилось недавно публиковать свою версию происхождения фресок Тассили.

О публикации же всего произведения речь и не шла, да сам автор понимал это, рассчитывая только на доброжелательный разбор, для чего он весьма любезно предоставил нам три чистых листа бумаги, чем мы с благодарностью и воспользовались.

С коллегиальным почтением,

член ПСС, дипломант конкурса по своевременному отражению воды

Жукопов-сын».

Я тут же обнаружил, что отзыв Жукопова-сына был выполнен на обороте (хорошо ещё, что на обороте!) опустевшего приложения о пустоте.

Тут же была приписка:

«Старичок! Не обижайся, если что вышло слишком резко. Но ребята дело пишут, тебе же на пользу. Кстати, осьминога с женой сатирика поймали. Осьминогом оказался бывший мастер по песочным часам, которыми пользовались шахматисты во время блицев. Звони, заходи.

С приветом, Фёдор.

Р. С. В связи с закрытием "Скважины" нас переименовали в "Каланчу", чтоб ты знал. И ещё, чепуха какая получилась — дали для практики ещё студенту Кириллу Эрудитятко прочитать (он стажируется на критика), и он вернул твой манускрипт с возмущением, утверждая, что ему дали пустые листы бумаги, к тому же не совсем чистые. Видимо, просто у него была другая работёнка в это время. Ещё раз привет.

Ф. Б.»

Вокруг всё текло, но надо мной не капало. Тихо тикали клепсидры, водяные часы. За окном над водами витал довольно-таки бодрый дух, в воздухе было свежо.

Я отделил рукопись от рецензий и закрепил стол посреди воды, несколько старинных книг, упакованных в герметические пакеты, служили якорями. К воде под столом я уже привык, а от воды, возможной над столом, я на всякий случай укрепил зонт и увидел, что это хорошо.

Удивительно плодовитое дерево, этот стол. Помню себя за ним ещё зелёным, совсем карликом, книги лежали на стуле, чтобы можно было сидеть за столом, и лежали на полу, чтобы можно было подняться на стул. А на столе были плоды, ещё с других деревьев, стоявших на зелёной земле. И каждый плод скрывал в себе своё время.

И ещё светильник был над столом, он мог продлевать день среди ночи, и того, кто находился при его свете, он отделял ото тьмы.

Ещё было светло, но я сразу зажёг светильник, чтобы не отрываться при чтении, когда действительно стемнеет, и склонился над вернувшейся ко мне Третьей скрепкой.

ТРЕТЬЯ СКРЕПКА

Мне нравилось море и нравилось солнце, и, хотя я постоянно виделся с ними, я не мог привыкнуть ни к морю, ни к солнцу.

Солнце выходило из моря рано утром, определяя время и погоду, и я не уставал встречать его каждый день, чувствуя ежедневно его новизну.

Я уплывал в море, было особенно приятно чувствовать себя в море на одном уровне с восходом, видеть лицом к лицу первый луч, затем глубину, дальнюю, из которой этот луч вышел, потом весь объём светила отслаивался от горизонта.

Я чувствовал себя обновлённым, выходя из моря, и отправлялся по своим делам, которые были не хуже, чем у других. По дороге, как и все, я знакомился с миром по газетам:

- ФИОЛЕТОВЫЕ ОБЪЯВИЛИ ВОИНУ ГОЛУБЫМ!
- НЕИЗВЕСТНЫЕ ПОХИТИЛИ ПИРАМИДУ ХЕОПСА!
- ОЖИВЛЕНИЕ МУМИИ ФАРАОНА ХРОНОПАТА! ФАРАОН ГОТОВ ПРИСТУПИТЬ К СВОИМ ОБЯЗАННОСТЯМ.

Потом солнце сливалось с небом и проникало во многие земные предметы, и в людей тоже, в одних зноем, тяжестью, в других светом и лёгкостью, а во многих всё это перемешивалось, заставляло совершать поступки, говорить речи или замыкаться, накапливая мысли о дальнем пути. Вечером наступал закат, солнце, налившись собственным излучением, сжималось и уходило остывать в горы.

В один из рассветов я и встретился с этим человеком.

Было особенно рано и ещё не очень светло, потому он словно возник из моря, как те, кто, по преданию, выходили из моря, учили народ ремеслу и песням и вновь, почти навсегда, исчезали в море. Когда они приходили и уходили, тем, кто их видел, они казались великанами, ноги которых касались океанского грунта с затонувшими кораблями, а головой они упирались в небо, ещё не просветлённое, не отделённое чётким знанием от земли.

Вот и он шёл издали, стало даже страшно, но когда он приблизился, то оказался ростом лишь настолько выше меня, насколько взрослые обычно выше детей, и он принял меня, видимо, за ребёнка ещё, потому что сказал ещё издалека:

– Пришло моё время лететь...

Он опустился на камень рядом со мной.

 ${
m A}$ я думал, что он должен быть лётчиком, раз говорит так, но по тону в этом было нечто странное, хотя и не та задорная странность, которую я слышал в голосе неудавшегося музыканта, известного под прозвищем Баритон. Он тоже пережил полёт, если верить его рассказу о проделке своего друга, которого звали просто Тенор. Они оба как-то поссорились, решив обучить меня пению. Баритон настаивал на постановке рёберного дыхания, а Тенор – диафрагмального. Но мне так и пришлось остаться при ключичном дыхании, а они поссорились, и Баритон рассказывал, что виноват во всём Тенор, учинивший в городе необычайной силы взрыв. Недалеко от центра был когда-то Храм Христа Спасителя на месте огромного аквариума, где, видимо, и поныне показывают туристам ископаемых рыб и даже настоящие подводные лодки. По словам Баритона, именно Тенор взорвал этот храм, так как ему стадо известно, что под храмом зарыто сокровище, а именно горшок с золотыми цехинами, и взорвал он его именно в тот момент, когда Баритон пел на клиросе, и остался он в живых лишь благодаря колоколу, который рухнул прямо на него, прикрыв от обрушивающихся стен и купола, затем второй взрыв поднял его в воздух вместе с колоколом, так что сверху можно было разглядеть и здания самой разной высоты, и радиобашню Шухова, и чёртово колесо в парке Народного Ликования, и можно было бы увидеть и ещё больше, но Баритон пронёсся над каменным мостом через медленную Москву-реку и опустился прямо в её гостеприимные воды, причём он клянётся, всё время полёта он продолжал тянуть ноту «ля». А Тенору он с тех пор руки не подаёт.

Вот как летают в нашем городе, а этот, вышедший из моря, казалось, говорил о чём-то ином.

— Да, пришло моё время лететь, но никто не должен видеть моего взлёта, ибо взгляд человека мне вослед способен только вернуть меня. Тогда всё рухнет, задуманное, но не совершённое. Но моё слово, оставленное хотя бы в одном человеке, должно дать мне силы, чтобы совершить задуманное и необходимое.

И он спросил меня, умею ли я держать в себе чужое слово. Я сказал, что могу, что я верю своей памяти, а она вся состоит из чужих слов и моей веры в них. Он спросил, могу ли я передать чужое слово другим, когда придёт время и я почувствую необходимость передавать чужие слова так, чтобы им поверили, будто они мои. Я сказал, что к этому я бы хотел стремиться, чтобы чужие слова становились во мне моими, чтобы стать ближе к тем, кому я их буду передавать. И действительно, надо так чувствовать время, когда чужое уже настолько стало твоим, что пора его передавать другим. Он согласился и с этим ответом и, так как времени у него, судя по состоянию, было немного, перешёл к своему рассказу:

– Мой отец был искусным мастером. Он изучал ритмы и мелодии времени, голос пространства, проходящий сквозь нашу галактику, словно через гортань, и на языке солнца называющий звонким словом нашу планету, к которой прислушивается чуткое ухо луны. А между луной и солнцем люди на земле боролись за собственные имена.

Борьба разных сил изменяла асимметрию мира, а это влияло на асимметрию человеческого тела, на её средоточие — сердце, а сердце через ум человека сообщалось со всемирным умом, название которому разные умы давали разное: Гераклит говорил о Логосе, Анаксагор о Нусе, индийцы либо о Дхарме, либо о Дхамме, Лао-Цзы говорил о Дао, и все они пытались определить земное в зависимости от небесного.

Между умом и сердцем возникала взаимная любовь, по которой они искали друг друга, в одном теле, в разных телах и в разных душах.

Всем этим движениям, даже самому тонкому из них, – любви полагались свои точные законы, выражавшиеся в мерах, словах и числах.

Отец долго искал эти законы, и он нашёл их, но сам не успел уже ими воспользоваться, он уже был не в силах это сделать, так как силы ушли на поиск. Он не соизмерил свои личные ритмы с ходом вселенной, вместив в свою душу непомерный мир, он умер от избытка внезапного чужого – в своём, единственном несовершенном теле.

Но добытое за долгие годы, прошедшие для него как один прекрасный миг, всё это он передал мне ещё в годы моей юности.

Мне казалось, что я овладел его наукой, что я на пути к совершенству, что мне доступно счастье, блаженство и, наверное, бессмертие. Я вместил в себя то, что созвучно далёкому, и я уже мог слушать то, что слышит Луна, возбуждая своим вниманием приливы и отливы...

Я могу, совмещая ритм шага и внутреннего тока крови и дыхания с дыханием моря и пульсом его дна, идти по воде, словно посуху.

Находя резонанс с полем тяготения, я могу сдвигать любые тяжести, проходить сквозь любые преграды, – стоит мне только определить кристаллическую решётку материи, которую надо миновать...

Тут он поднялся, подошёл к воде, но не пошёл по ней, а просто поднял ладонь над волной, из волны тут же вырвался маленький смерч навстречу ладони, потом он свернулся в водяной шар, упал, и на месте его падения море вдруг откатилось, обнажая песчаное дно.

– Так я могу по дну океана провести народ с материка на материк, держась руками за стены двух океанских застывших лавин.

Сложнее летать. Просто взлететь над землёй, подобно частице прилива, притянутой солнцем или луной, оторваться от случайного дна и парить, чувствуя себя частью невидимого потока, — это просто приятно и безопасно, если тебя не видят. Труднее лететь в даль, где возмущают планеты, звёзды, пылевые облака, колебания вакуума, наплывы пустот и волнения космических полей, здесь всегда остаётся опасность — попасть в мёртвую зыбь света. Это страшнее, чем тьма.

Но я верил, что овладею и этим искусством. И я был счастлив, считая себя готовым выполнить первый завет отца — сделать эту науку доступной всем земным людям, но только всем до одного, иначе возникшее таким образом массовое поле погубит непосвящённых, они будут поглощены землёй, которая почувствует их единственными принадлежащими ещё ей, а посвящённых увлечёт Луна, внимание которой раздвоится между уходящими в землю и между способными её покинуть. Я уже не говорю о возможности избранным унизить многих, присвоив себе эту полную власть над жизнью.

Это надо было передать всем, или никому. И тут пришла пора грусти, скитаний и гнева. Однажды ко мне явились тайные агенты, заявив, что им всё известно, то есть им известно то, что мне всё известно, и потому я обязан поставить их об этом в полную известность, их и только их, поскольку это их прямая обязанность, иметь непосредственное отношение ко всем тайнам. Иначе, угрожали они, всем будет известно обо мне всё то, что мне ещё пока самому неизвестно.

Угрозы мне показались смешными, но я не учитывал того, что страшнее заключения в камере чувство, что твоя жизнь находится под постоянным наблюдением скрытой камеры.

После тайных агентов меня посетили с официальным визитом представители Односторонних явных вооружённых сил. Они требовали, чтобы я передал свои секреты для блага Односторонних сил, что им поможет в деле подавления Посторонних и Потусторонних вооружённых сил.

Навещали меня и деятели Академии поучающих наук, они предлагали поставить преподавание моего предмета в Специальных закрытых училищах для особых детей, с тем чтобы те, кого этому обучат, могли в необходимых случаях проучивать тех, кого этому не обучали. От этого, полагали деятели, только улучшится существующий идеальный порядок.

Потом пытались со мной найти общий язык люди Оттуда, утверждавшие, что Здесь мне всё равно не найти понимания, тогда как там, даже если меня и не поймут, но создадут мне все условия для полной популяризации непонятного. Но для этого я сам должен сменить Здешние условия на Тамошние. При этом мне гарантировали, что оградят меня от Здешних лазутчиков, тогда как Здешние не в силах оградить меня здесь от Тамошних.

Были и более мелкие, но и более анекдотические требования и предложения. Меня умоляли поднять краеугольный камень руководящей теории, чтобы посмотреть, а что же под ним. Вычислители интересовались, могу ли одержать победу над электронной машиной нашего поколения, сыграв с ней ряд партий в козла.

Приходили ещё очень маленькие существа, пожелавшие остаться неизвестными, приглашали на строительство гигантского моста между их карликовыми государствами. Они показывали мне чертёж этого моста — ленту Мебиуса, плоскость, повёрнутую к своему концу на 180 градусов, ясно, что ни пройти, ни проехать по этому мосту будет невозможно. Я удивился и отказался, а они очень разозлились и оставили мне без разъяснений шкатулку, открыв которую, когда они степенно удалились, я обнаружил рога и копыта. Видимо, у пожелавших остаться неизвестными была волчья натура, и они напоминали мне о сказке, в которой остались от козлика рожки да ножки.

Так приходили многие и многие, а иные сами требовали меня к себе, и все говорили только о своём или о частном интересе, всех интересовала граница, которая их отделит от других, от непосвящённых.

Скоро я почувствовал, что со мной вступили в борьбу те, кому я отказывал, объясняя, что это знание – всем или никому.

Со мной ничего нельзя было сделать, потому у меня просто-напросто отняли других, с которыми можно было сделать многое, а я мог помочь им лишь частично, всё по той же причине, исключающей эзотеричность, замкнутость моего знания, всякое единичное и частное применение этого искусства.

Меня объявили опасным сумасшедшим, врагом человека, со мной никому нельзя было видеться, было запрещено говорить со мной, всякая связь со мной пресекалась и наказывалась.

Я ещё долго скитался, но так и не нашёл себе места. Все записи я давно уничтожил, чтобы их не смогли выкрасть и извратить, но я всё знал наизусть. Я чувствовал, что ещё не пришло время, чтобы исполнить первый завет моего отца, и тогда остаётся сделать второе, что он мне завещал.

Отец знал, что люди и без него, и без меня придут ещё к нашей науке. Но до этого пройдёт ровно столько эпох, сколько понадобится и нашему Солнцу, чтобы подготовить новую вспышку, которая навсегда ослепит только что внезапно прозревшее человечество.

Вот оно, наше Солнце, оно пылает и светит, мы чувствуем его солнечный ветер, но мы должны бояться солнечного дождя. Его распирает от собственного жара, скрытого в глубине, от лучей, сдерживаемых его поверхностью. Весь этот напор уравновешен тяжёлой солнечной массой, и это равновесие удерживает наше светило от мгновенного взрыва. Но наступит срок, когда масса настолько иссякнет со светом, что внутреннее излучение пересилит собственный глубинный вес, тогда Солнце вспыхнет с новой мощью, объемля и опаляя три ближайшие планеты — Меркурий, Венеру и Землю, не встречая сопротивления на пути, ибо к тому времени Меркурий и Венера будут сдвинуты на земную орбиту, снабжены вольной атмосферой и постепенно обжиты.

И произойдёт это как раз тогда, когда некто снова расчислит и поймёт известное мне уже сегодня, а на Земле все люди уже будут готовы к принятию этой могущественной истины.

Тогда людей спасёт только несколько дней, даже часов и минут, чтобы они успели признать и понять эту истину и, овладев ею, суметь защититься от взрыва.

Второй завет моего отца – дать грядущим людям это спасительное немногое время.

Завтра наступит благоприятный миг, когда можно будет, уловив гармонию внешних сфер, взлететь и кануть в беззвучно гремящем пламени, которое примет меня и сожжёт, но я стану той недостающей частицей солнечной плоти, которая будет сдерживать светило в тот далёкий грядущий день...

Он замолчал, и мы молча слушали море. Я не знал, как ответить на эту исповедь. Я начал было говорить что-то о себе, о том, насколько ничтожна моя судьба по сравнению с его подвигом, но он остановил меня, напомнив, что он знает больше, чем я скажу, и он уловил в моих словах только скрытую просьбу, – а мне, что делать мне в этом мире? И он продолжил:

– Если ты знаешь теперь обо мне, то ты знаешь больше и о себе. И ты можешь легче прийти к тому, что и как тебе делать в жизни. И тебе я не передал своего знания, я говорил только намёками на смысл, образами, вызывающими, скорее, доверие к словам, чем разъясняющими суть моего искусства.

Но этого уже достаточно, чтобы сказать обо мне. А говоря обо мне, ты будешь говорить также и о себе. Сказанное обо мне окажется внутри сказанного тобой о тебе и станет достоверным, а то обволакивающее, сказанное тобой о себе, станет оправданным.

Только говорящий о другом, за другого и для другого может говорить и о себе. Свидетель не должен быть больше, чем свидетельство, но он должен стремиться стать с ним как бы наравне, потому что свидетель – доказательство истинности свидетельства.

Пусть эти слова тоже лишь намёк и образ, но я выбрал тебя в свидетели, я оставил в тебе своё слово, теперь мне легко. И теперь я могу уйти, твой взгляд не будет для меня тяжким, он будет последним, направленным отвесно к моему скорому взлёту. Прощай...

Когда он уходил, он вовсе не стал уменьшаться, напротив, он рос, удаляясь, и я понял, что он живёт не в прямой, а в обратной перспективе, и ещё более поверил, что он действительно совершит обещанное, и, исчезнув, он возвеличится по закону своего бытия.

Кому я мог рассказать об этом, чтобы меня не высмеяли? Я хотел разыскать Баритона, он работал сторожем в городском зверинце, но мне сказали, что с ним беда. Он уговорил Тенора, который работал статистом в кино и часто терял работу из-за своей подвижности, украсть из зверинца медведя, который был единственным, последним медведем на земле, и потому считался национальной гордостью. Тенор и Баритон выкрали медведя и пытались его переправить в лес, но заблудились в поисках леса, даже сам медведь им ни в чём не помог, настолько его испортила городская жизнь, и, наконец, все трое были схвачены на окраине города. Медведя посадили сразу же на прежнее место в зверинце, а Тенор и Баритон предстанут перед судом, обвиняемые в подрыве государственного престижа.

Значит, мне не с кем будет сегодня поделиться моей тревогой, наоборот, стало ещё одной тревогой больше за моих друзей, которым я был не в силах помочь.

Вечером я долго пытался забыться. До меня долетал далёкий грохот поездов, вздохи автомобилей, и совсем близко исчезал шелест древесной листвы.

Всё это сливалось в один бушующий гул, как будто возник он в мгновенье заката, когда солнце ушло за горы, в невиданный край земли, кажущийся мне пустым и необитаемым, и солнце как будто тоже хотело поскорей уйти оттуда, чтобы светить людям, и вот его лучи бьются о горный кряж с другой стороны моего мира, и мне уже слышен гул его огромного чрева, поглощаемый по утрам мягким морем и травами побережья.

Потом я летел, как мне казалось, уже сотни и тысячи солнечных лет, то обгоняя свет, то отставая, чтобы увидеть, какой он, обволакивающий меня.

Я видел небо, чёрное, пробуравленное бесчисленными звёздами, и, пока я летел, звёзды эти росли, раскалывали лучами чёрную твердь, сливались друг с другом, пока не сплавились в единое световое поле. Это были молнии без удара, ток без потрясений, пламя, не образующее пепла. Пахло грозовым озоном, и переливалась музыка света.

Затем через необычайно долгое время, равное, быть может, двум-трём вечностям, в сплошном сиянии появилась чёрная точка, словно укол, она искрилась угольными лучами, рождая радужную геометрию на жемчужном своде.

И я летел навстречу чёрной звезде.

Утром раньше обычного я спустился к морю. Был слышен его шум, но ещё не было видно, где оно начинается и куда оно уходит. Берег был пуст.

Волны ещё непрозрачно набегали на берег, из них выдыхалась темнота.

И в море не было ни корабля.

Но уже чувствовалось солнце, там, вдали, за горизонтом, ещё совсем под водой.

Я снял рубашку, оставил её у ног и посмотрел на воду. Вода тихо перешёптывалась с невидимыми рыбами и впускала в себя небо. Ветер был незаметен, но деревья над берегом чуть колыхались, от их крон уходил ввысь отражённый от неба синий дым.

Море отступало от берега, всхлипывало притворно у влажных камней, а вдали было спокойным и твёрдым и тонко отслаивалось от неба на горизонте.

Я поднял без разбора плоский камень, размахнулся, но не бросил его, испугавшись лишнего звука, нагнулся и медленно выпустил его к другим камням.

Наконец, вода задела меня, мы сошлись, она была прохладная, потому что приходила из глубин, где жила среди рыб, таких же холодных, как и она. Я шагнул в неё, погрузился по грудь и уже спокойней взглянул вдаль. Там, на краю видимости, море было взрезано солнцем. Его горячий шар выходил из бездны, и там, где он возник, родилась первая обжигающая волна и, остывая, пошла к далёкому от неё и близкому мне побережью. Я ринулся ей навстречу, чтобы столкнуться с ней посредине моря, я плыл навстречу солнцу, и не было никого на берегу, кто бы глядел мне вослед. Солнце было уже надо мной и над морем, и море не обожгло меня, а лишь остудило, я перевернулся на спину, оглянулся, увидел такой маленький далёкий пустой берег, испугался своего одиночества и поплыл назад.

Купив свежие газеты, я лишь бегло пробежал по заголовкам: «ВОЙСКА ФИОЛЕТОВЫХ ЗАНЯЛИ СТОЛИЦУ ГОЛУБЫХ, ГОЛУБЫЕ ЗАХВАТИЛИ СТОЛИЦУ ФИОЛЕТОВЫХ!», «МИРНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА: ВОЮЮЩИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБМЕНИВАЮТСЯ НАРОДАМИ», «КИНОЗВЕЗДА Х. Х. ВЫШЛА ЗАМУЖ ЗА ВОСКРЕШЁННОГО ФАРАОНА ХРОНОПАТА!»

Наконец, в разделе научной хроники едва заметная информация: «Несколько высокогорных обсерваторий зафиксировали странную вспышку на Солнце. Есть предположения, что причина происшедшего – метеорит, не принадлежащий к нашей Солнечной системе».

И всё. Ниже шёл постоянный в последние недели анонс: «ВНИМАНИЕ ОБИТАТЕЛЕЙ ПЛА-НЕТЫ! БУМАЖНЫЙ ТИГР-ЛЮДОЕД ВСЁ ЕЩЁ НЕ ПОЙМАН!»

Я вспомнил древнюю легенду о Фаэтоне, сыне бога Солнца, который погиб, упав в море, не сумев удержать колесницу своего отца.

* * *

В поисках знания я однажды столкнулся с людьми, которым поверил, так как они говорили о том, чего не хватает, чтобы жизнь была действительно прекрасна.

А не хватало достойного человека, утверждали эти исследователи. Суть в том, что всё достойное человека уже есть, но надо, чтобы сам человек соответствовал всему, произведённому им самим и другими.

Я устроился в это учреждение сотрудником по соблюдению чистоты, мне выдали белый халат, и я получил возможность наблюдать за экспериментом.

Пространство, разделённое на отсеки, равномерно заполненное чистыми людьми, напоминало оранжереи, в которых шуршали магнитные ленты и пощёлкивали точные механизмы. Они фиксировали сложные процессы, происходящие в гигантских ретортах, движущихся по синусоиде в бесконечной галерее цехов и лабораторий.

На халатах сотрудников блестели жетоны с надписью ЦИПРОНОЧЕЛ, что расшифровывалось как ЦЕНТР ИСКУССТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА НОВОГО ЧЕЛОВЕКА. Сотрудники назывались ципроночельниками.

Этот Центр существовал уже не одно поколение, работа шла по программе чётко и безукоризненно, единственное, что требовалось для её завершения, это – в р е м я.

Ципроночелом мог стать каждый, кто сдавал своё в р е м я на благо всеобщего успеха. Это время складывалось из самых разнообразных источников.

Сдавали время, которое иначе пошло бы на бесполезную работу; на покорное отсиживание положенных часов без всякой продуктивной деятельности; на собрания, решения которых были известны заранее; на получение сведений, которые устарели за время, потраченное на их получение; время, уходящее на упражнения в военных действиях, которые предположительно должны быть развязаны неприятелем тотчас, как только прекратятся упражнения в военных действиях; своё время, убитое ради того, чтобы убить их время; время разбрасывать каменья; время уклоняться от объятий; время безвременья, некоторые виды местного времени; времена, связанные междометием «о» с нравами, а также всё, что не вовремя.

Таким образом, накопилась куча времени, равная тому периоду, который, согласно одной из гипотез, когда-то понадобился группе обезьян для того, чтобы превратиться в сплочённый человеческий коллектив.

Но рвение стать ципроночелом было так велико, как будто стать ципроночелом почётнее, чем самим НОВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ, поэтому и сдавали кроме вышеупомянутого времени ещё и личное время, время обнимать, время иметь и растить детей, время смеяться и плакать, время обучаться ремеслу, искусству и наукам, время чтения стихов, время отвечать спрашивающим, время слушать говорящих, время любить и время мечтать о любви, время размышлять о времени, время беседовать с вечностью, время смотреть вперёд и время оглядываться назад, время жить и время умирать своей смертью...

Так накопилась целая вечность, в которой затерялась добытая куча времени, зато ципроночелов становилось всё больше и больше.

Ципроночелы считали себя как бы уже представителями НОВОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. И поскольку условия для нового человечества были уже созданы, то ими и пользовались ципроночельники, заодно проверяя на себе благоприятное действие этих условий, а также побочные осложнения, вызываемые всем благоприятным. Ципроночельники выработали впервые понятия потомственности и непотомственности, заимствованные в своё время созидателями Ареала Независимости.

Умножение числа ципроночелов автоматически устраняло проблему создания нового человека. Оказалось, что в хороших условиях и старый человек хорош, если он ими имеет право пользоваться.

Первое поколение ципроночелов объездило весь свет и обнаружило, в отличие от вышеупомянутого, условно названного Фаэтоном, что всё, касающееся условий, везде одинаково хорошо. Второе поколение ципроночелов уже никуда не ездило и даже почти не выходило, поскольку всё везде одинаково. Для оздоровительных прогулок пользовались велобаном, специальным транспортёром, который мог ускользать из-под ног с какой угодно скоростью, тогда как гуляющий оставался на одном месте; по краям велобана тянулся мультиплицирующий экран, на котором в зависимости от прогуливающегося и его желаний менялись последовательно местность, время года и суток, погода и тому подобное.

Общались ципроночелы между собой редко, ибо им было всё известно друг о друге, о прошлом и о будущем каждого, и каждый был, как один, и один, как все. Читающий уже догадывается, что от ципроночелов со временем отпочковались Карлики, основавшие Козландию.

А внутри Ареала Независимости был впоследствии использован мультиплицирующий экран, и одна из реторт Центра была принята за ископаемое произведение искусства и воздвигнута как известный уже памятник ВС.

В Центре на памяти моей произошло только одно событие. В полдень, когда, как обычно, прогремели солнечные пушки, выстрелившие в атмосферу очередную порцию серпантина для рассеяния света, в это время в стеклянные призмы лабораторных дверей проскользнули обычные солнечные зайчики, а вслед за ними двое, неизвестные юноша и девушка, но только без положенных крахмальных халатов — в чём мать родила, но матери обычно рожают младенцев, а это были взрослые, мало того, растущие прямо на глазах существа. Они бежали вслед за зайчиками, и их голоса както странно вибрировали. Ципроночелы говорили либо цитатами из классиков вещизма-отношизма, касающимися сплошной и поголовной человечизации неодушевлённых предметов, либо газетными заголовками типа: «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВСЕМИРНАЯ ТАБЛИЦА УМНОЖЕНИЯ» или «ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ, ПОДКЛЮЧЁННЫМИ К ЭЛЕКТРОСЕТИ». Но речь этих двух звучала непонятно: хи-хи-ха-ха! и т. д. Мгновенно сработал аварийный сигнал, установленный на непредвиденное, и эти двое неизвестных оказались под колпаком. Они и под колпаком посмеивались и показывали при этом пальцами на учёных-ципроночелов. Им даже в голову не приходило заэкранировать верхними конечностями свою наготу, от которой полностью отвыкли ципроночелы, изжив её тем, что рождались сразу в халатах.

И в этот момент вспыхнуло программное световое табло: ПОЗДРАВЛЯЕМ СОТРУДНИКОВ ЦЕНТРА С ЗАВЕРШЕНИЕМ МНОГОВЕКОВОЙ ПРОГРАММЫ! НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК СОЗДАН В ИСКОМОМ КОЛИЧЕСТВЕ ИЗ ДВУХ ОСОБЕЙ!

Это передавал робот-индикатор из сборочного, но тут же стало ясно, что сообщение ошибочное, так как результаты были налицо, под колпаком.

После этой неудачи я был уволен вместе со всеми сотрудниками, не являющимися потомственными ципроночельниками, поскольку вину взвалили на нас, исходя из положения об изначальной непогрешимости ципроночельства. Так я впервые столкнулся с понятием отпущения.

По слухам, те двое, заключённые под колпак, продолжали расти и, в конце концов, стали родоначальниками Великанов, которые заменили ципроночелам отпущенных специалистов.

Специалисты по разным делам осели в разных регионах, я же специализировался, как было упомянуто, по ч и с т о т е, и мои услуги нигде не потребовались, потому что нигде не смели и думать, что у них что-то нечисто.

Так я попал, в конце концов, в очень благополучный регион. В истории этого региона было очень много войн, проведённых при помощи различных средств. Войны велись за обладание благами противной стороны, не уничтоженными в ходе военных действий. Обитатели противной стороны в случае поражения были обязаны умножать блага тех, кто выиграл. Основным благом было калорийное питание, хорошая кухня. От кухни зависело здоровье, настроение, состояние генофонда, общественный тонус, вообще цивилизация. Кухня определяла мышление. Так, китайская кухня, когда из разнообразных блюд (жуков, змей, ящериц, осьминогов и др.) берутся небольшие количества, смешиваются с разными травами, соусами и приправами, — такая кухня порождает комбинаторную

логику, а в случае произвольного выбора, определённого незнанием сути каждого блюда и каждой специи, — возникает вероятностная логика. Отсюда мировоззрение, такое, что всё может быть, и с каждым, любой может оказаться в любой компании, потому вырабатываются понятия терпимости, взаимозаменяемости каждого члена, готовности ко всему, что требовало знания разных приёмов борьбы, включая такие ударные её виды, как каратэ, джиу-джитсу и сиамский бокс. Наиболее вероятностные системы борьбы строились на определённой системе анатомии, на знании точек, тычок в которые парализует жизненно важные центры или вообще освобождает поражённый организм от потребности в пище. Но борьба порождает и определённый ритуал, обхождение друг с другом, выражающееся в пространном увещевании противника не наносить вред выбранному для притязаний партнёру. Отсюда необыкновенная вежливость, предшествующая удару, умение сосредоточиться и находить самую уязвимую точку на поверхности партнёра, компаньона, или как там его назвать, при помощи комбинированного знака, или иероглифа.

Сам носитель мировоззрения, вызванного статистической кухней, являет собою по форме иероглиф, совокупность же иероглифов читается сверху вниз, потому любой отдельный иероглиф смотрит на другой отдельный иероглиф или на их совокупность тоже сверху вниз. На неизвестные иероглифы в данной цивилизации смотреть бессмысленно, в связи с невозможностью их произнести.

Так как все взаимно смотрят друг на друга сверху вниз, планета закономерно принимает круглую форму, и все взгляды образуют замкнутый круг, поэтому в конечном счёте опять-таки все равны, несмотря на свои взгляды.

Движение, производимое индивидами в этой пищевой цивилизации, называется броуновским и хорошо просматривается в любой микроскоп.

Цивилизация в корне меняется при переходе к другой кухне, обобщённо именуемой европейской. Эта кухня предполагает несколько блюд, первое, второе и третье, потому европейцы последовательны, умеют считать до трёх и обладают дедуктивными науками. Дедуктивные науки имеют своим методом рассуждение от общего к частному. Ясно, отчего это – первое, суп, как бы общее, объёмное, жидкое, второе же более определённое, не жидкое, а мягкое, иногда жёсткое, но всё ещё смешанное, предполагающее гарниры. Третье – уже сама частность, мелочь, но она определяет вкусы едока-европейца. Примерами третьих блюд могут быть китайский или индийский чай, бразильский кофе, русский зверобой – это тоже жидкости, такой способ питания породил в голове европейца диалектику с её законом отрицания: второе отрицает первое, третье отрицает второе, т. е. снимает отрицание первого на новой ступени.

Частности или мелочи европейской кухни произрастали обычно вдалеке от Европы, и это определяло европейскую политику на протяжении многих веков, когда на третье обязательно употреблялось отрицание отрицания. Европейцы любили дальние походы и плавания в поисках источников третьего. Тоска по третьему выражалась даже в официальной логике европейцев — перипатетиков, был издан специальный закон исключённого третьего, гласящий, что третьего не дано. И в отличие от китайцев, полагавших, что Земля круглая, так что куда ни пойди, всё равно вернёшься в Китай, европейцы считали Землю плоской и рыскали по ней в самых разных направлениях.

Правда, однажды они поступили вполне по-китайски, попав в Америку и приняв её за Европу, захваченную в их отсутствие пришельцами иной цивилизации.

Язык европейцев трёхчленен, в нём есть подлежащее, сказуемое и дополнение. Например: Я есмь человек. Я – это подлежащее, то, что подлежит рассмотрению, е с м ь – сказуемое, утверждающее о существовании подлежащего, а ч е л о в е к – есть дополнение, или то самое третье, суть и сущность первого. Так оно и есть в жизни европейцев, у них на протяжении всей истории каждое «я» стремится доказать, что оно есть нечто третье, так что «я» очень хочет стать человеком. История утверждает, что у некоторых это получалось.

Ещё у европейцев есть всякие приправы, специи, будь то перец, корица, хмели-сунели или просто хрен.

Нет смысла напоминать, что эти частицы произрастают в самых различных частях света.

Эти частицы имеют своё место и в языке. Но если пище, то есть на языке, они придают остроту, то языку они придают некоторую расплывчатость, компенсируя чрезмерную точность трёхчленного высказывания. Частица «бы» по нраву мечтателям и фантазёрам, без неё не обходится ни одна европейская теория, касающаяся будущего человечества.

Человек-европеец постоянно твердит своему собеседнику: «Был бы ты человеком...»

«Бы» утверждает, что всё, существующее так, как и должно, на самом деле вовсе не так, как должно. И ещё из высказывания, содержащего «бы», в частности из любого высказывания о грядущем, можно вывести любое другое, даже самое невероятное и нелепое — о настоящем, и оно будет считаться истинным, даже не соответствуя действительности.

Так хитрые европейцы, те, что уверенно смотрели в будущее, переплюнули вероятностно-комбинаторных китайцев, которые любое будущее имели позади себя.

Частица «ли» подрывает основы трёхчленного силлогизма, но делает это с ритуальность вполне китайской. «Ты ли это?» – спрашивает европеец сам себя, глядя в зеркало. «Ты ли это?» – спрашивают вас ближайшие родственники. «Человек ли ты?» – задают постоянно абстрактные вопросы европейские философы.

Ответ таков, что может быть так, а может быть эдак. Если кто спросит с «ли», то ответ возможен с «бы»: «Человек ли ты?» – «А почему бы и нет?» Или: «Не можете ли вы нам помочь?» – «Как бы не так!» – «Так ли это?» – «Если бы так!» Что удивительно, у китайцев частица «ли» означает «закон». Этой частицей китайцы как бы говорят европейцам: «А не китайцы ли вы?»

И тут возможен ответ: если китайцы (а почему бы и нет?!) – то почему бы на вас не глядеть сверху вниз?

Европейцы с китайцами имели немало пограничных слов. Когда на границе просматривалось имущество того, кто следовал перпендикулярно границе далее, те, кто оставался на месте параллельно границе, называли иероглиф «вынь». Когда вынималось то, что вызывало подозрение (чуждые иероглифы, как правило), то назывался иероглиф «дай». В глубокой древности, если то, о чём сказано «дай», представляло большую ценность для пока-обладателя, он мог пустить в ход иероглиф «сунь».

Это при законном пересечении границы. Тут же действовали прочие законные вопросы: Ты ли это? То ли это? Так ли это?

При незаконном пересечении пересечение пресекалось общеизвестным иероглифом «Эй!», то есть «Куда?!».

«Незаконные», желающие сменить диету, могли стать причиной столкновений. Долгое время считалось, что раз кто-то пересекает, то, значит, там кухня лучше. Однако предыдущие рассуждения говорят о том, что в результате всё едино, а процесс привыкания к новой пище болезнен.

И всё-таки стремление в чужую кухню было неудержимым, ради чего было выдумано немало средств передвижения и поражения, описанных частично при упоминании Осландии.

Как бы хороши ни были эти средства, в этом счастливом регионе они не помогали достичь цели. Тогда перешли к радикальному пересмотру кухни. Стремление к человечности, ко всему человеческому как к результату любых завоеваний и подавлений привело к решению, на первый взгляд, реакционному, зато проверенному всем ходом предыдущей истории. Это решение не сразу было принято и понято как следует, известны некоторые тексты, говорившие о проведении его в жизнь. Один из них, озаглавлен «Прогресс в отношении к человеку», таков:

Что за нелепость – пресловутые скорости нашего века! Возьмём, например, людоедство: в старое доброе время группа людей съедала одного человека всего лишь за день, а в наше время группа наших людей может есть поедом человека целый год, и это значит, один человек съедает лишь малую группу людей (естественно, в мирное время) за целую жизнь. И бывает,

что целую жизнь человек ест поедом человека, но съесть так и не может... Куда там! — читаем мы в назиданиях древних людоедов — ведь нельзя есть на ходу, нельзя относиться к поеданию буднично, съедение, поедание — это праздник, — съеденный вечно живёт в нас!

Доводы в пользу людоедства неопровержимы. Полностью ненадобны обширные кладбища, навевающие жуть на ещё живых.

Ни к чему всякие лекарства, допинги, витамины, так как в здоровом человеке всего этого вдоволь. Медицина сводится к одному принципу – лечить подобным. И прописывалось, например, подагрикам поедать подагриков, сифилитикам сифилитиков, неврастеникам неврастеников и т. п. Это очень оздоровило обстановку.

Ни к чему была и вся дорогостоящая военная техника, на которую трудилась добрая половина населения Козландии. Всё вооружение сводилось к ножу и вилке. На образцовую баталию просто приятно было смотреть: хорошо приготовленные соперники с повязанными салфетками сходятся с двух сторон, разделённые сервированными столами. В отдалении ждут своего часа нейтральные повара и официанты. И не было даже этого гнусного слова — война, говорили теперь о встрече за круглым столом. А стоит ли говорить о понимании того факта, что в худшем случае станешь жизненным материалом для своего ближнего, который в своё время подкормит ещё кого-то. В это время родился девиз «Всё во всех», говорящий об апофеозе братства, о котором только мечтали прежние моралисты и революционеры.

Единственно, что омрачало жизнь в таких прекрасных условиях, это вероятность быть признанным несъедобным. Например, несъедобными были признаны учёные и деятели культуры, поскольку некоторые из них как раз и разработали данную проблему. Решили, что раз проблемы таким образом все решены, то способные решать проблемы несъедобны, поскольку съевшие их будут способны ставить следующие проблемы, что может привести общество только к излишним волнениям и затратам.

Ещё были неедообязанные, те, кто полностью потерял аппетит, а потеря аппетита ничем не вылечивалась. К счастью, неедообязанные не всегда были несъедобными.

Я как иностранец был объявлен в этом регионе временно несъедобным и проходил обследование, из которого можно было заключить, с кем мне лучше встречаться за круглым столом в случае съедобности – с неврастениками, студентами, дипломированными инженерами или домохозяйками. Когда выяснилось, что я грамотен и пишу о событиях, свидетелем коих являюсь, меня сочли вполне съедобным и направили в распоряжение собратьев по перу, но, к сожалению, я их уже не застал, возможно, что они были съедены поклонниками их талантов.

Конечно, приятно знать, что тебя съели за твои заслуги, я же, воспользовавшись временным отсутствием всяких заслуг, отважился пересечь границу.

- Эй! крикнули мне с пограничной вышки.
- Эй!

Я никак не отреагировал на этот звук, а только бросил на прощанье нож и вилку, вручённые мне после освидетельствования, и перешёл границу. Пограничники, решив, что я несъедобен, потеряли ко мне всякий интерес.

Так я попал в регион необычайных трудолюбов. Как я узнал позже, сюда переселилась часть несъедобных. Прочие несъедобные трудились где-то в отдалённых местах планеты на строительстве моста, а другие — за ними я и устремился позже — частично под водой, частично в воздухе, созидали некий Ареал Независимости.

Необычайные трудолюбы были настоящие мастера своего дела. В «Бхагаватгите» Кришна учил Арджуну, что лучше плохо делать своё дело, чем хорошо ч у ж о е. Здесь же все знали своё дело и делали его только хорошо.

Трудолюбы обеспечивали себя изделиями изящных искусств, утварью, не говоря уже о насущном хлебе, обеспечивали они ещё и профессиональных потребителей, или созерцателей, которых было гораздо больше, чем трудолюбов.

Созерцатели тоже когда-то занимались общественно полезным трудом и вступали друг с другом в производственные отношения. Но они до конца жизни так и не знали, занимаются ли они своим делом. Как бы ни учил Кришна, трудолюбы не последовали кастовому разделению индуизма. Они пришли к мысли, что будет лучше, если некоторые вовсе не будут работать, поскольку исправлять результаты их плохой работы весьма затруднительно, а то и вовсе невозможно.

Первые опыты показали, что работать без созерцателей гораздо приятнее, показатели стали расти, улучшилось качество продукции и увеличился ассортимент производимых товаров.

Мало того, созерцатели оказались образцовыми потребителями. Никто лучше их не мог оценить новую продукцию. Они постоянно повышали спрос, а это стимулировало производительность труда трудолюбов.

Трудолюбы удовлетворяли растущий спрос созерцателей и получали от этого двойное удовольствие, и созерцатели тоже получали двойное удовольствие – и от того, что не работали, и от того, что потребляли. Они стали сознавать, что и они приносят несомненную пользу обществу, от этого самочувствие созерцателей улучшилось, они стали общительнее, добрее, а некоторые за долгие годы безбедственного созерцания находили своё дело и после соответствующих экзаменов переходили в класс трудолюбов.

Труднее было решить проблему полезной деятельности общественных институтов, учреждений, бюро, организаций, комитетов, коллективов и добровольных обществ. Надо подчеркнуть, что решение не могло быть генетическим, так как время показало, что разные институты в разных поколениях отличались разной продуктивностью и общественной славностью.

Наряду с этим было много удобных новшеств. Так, газета доставлялась созерцателю сразу с завёрнутой в неё свежей селёдкой. Письма приходили уже тщательно прочитанными, иногда, если так было нужно, уже отвеченными. Кино созерцали обычно в парной бане, причём видимость изображения говорила о нехватке пара, так что созерцатели тут же кричали банщику: «Наддай!»

Сюжеты фильмов были разные, но суть одна: в мужской бане показывали женскую баню, и наоборот.

Я не назвал ещё особую категорию местного населения, чьей задачей было определять, кто любит свою работу, а кто нет. Это были фундаментальные деятели с большим опытом как трудовой, так и созерцательной жизни. Трудолюбам было весьма трудно что-либо созерцать, они сгорали в работе. И это тоже шло на благо созерцателей, которые обожали салюты, фейерверки и прочие огненные зрелища.

Мне здесь не сразу повезло с работой. Блюсти чистоту меня не допустили, так как её блюли фундаментальные деятели, следившие за несмешиванием трудолюбов с созерцателями. Я не имел опыта для такой работы и был к тому же иностранцем в неопределённой степени. Иностранец, прибывший из соседнего Еврокитая, явно был несъедобным и считался иностранцем первой степени. Несъедобных первой степени уважали и загружали физическими работами без особых рекомендаций. Я же прибыл из-за нескольких границ и сам не мог твёрдо определить свою степень. Это было в высшей степени загадочно, и меня назначили временно заниматься перемещением предметов в пространстве.

Перемещать можно было всё. Пересаживать деревья с места на место, создавая видимость движущихся лесов. Это делалось ради созерцателей в грибные сезоны, дерево за деревом перемещались в город, чтобы созерцатели могли совершать прогулки за грибами. Грибы, конечно, оставались на месте ушедшего леса, но это было неважно, созерцатели дышали свежим воздухом и созерцали природу, а трудолюбы тем временем собирали грибы, что было делать легче при отсутствии деревьев, среди которых легко заблудиться.

Приходилось перемещать дома, чтобы менять среду общения созерцателей, они надоедали друг другу время от времени, так как нельзя было созерцать долгое время одно и то же окружение и говорить на одни и те же темы. А когда дома взаимно менялись местами, созерцатели взаимно думали, что у них появились новые соседи.

Ещё приходилось перемещать баржи по реке, впрягаясь в бечеву, потому что здесь царил лозунг «ЖИЗНЬ БЛИЖЕ К ИСКУССТВУ!» — а так как было произведение искусства с изображением бурлаков, то созерцателям требовалось это и в жизни.

Попытки размышлять об осмысленности многих перемещений обошлись мне не даром, ибо фундаментальные деятели стали склоняться к тому, что меня надо отправить в созерцатели. Перемещая предметы, я уже перемещал некоторых развенчанных трудолюбов в штат созерцателей, меня поразило их поведение, они совсем не чувствовали благодарности за то, что им указывают надлежащее место в упорядоченной жизни. Мне было проще перемещать деревья и дома, не оказывавшие ни физического, ни тем более словесного сопротивления, что для меня, относящегося к слову со вниманием, было особенно невыносимо. Словесное сопротивление сводилось к возмутительным уверениям, будто нынешнее перемещение производится лишь для доказательства непраздности фундаментальных деятелей, которые последнее время не то наобум, не то за мзду, не то по наветам перемещают некорректно как в ту, так и в другую сторону.

Я вовремя подумал об очередном побеге. Я уже слышал много разных толков о строительстве Ареала Независимости и по тропе, протоптанной различными несъедобными, трудолюбами и просто любителями приключений, добрался благополучно до места возведения Ареала. Никто не созерцал мой уход, никто не кричал «эй!», и что самое удачное – никто не заметил моего прихода.

Я увидел гигантский колпак. Вблизи стало виднее, что он имеет форму распускающегося цветка, вот почему я сумел проникнуть внутрь в том месте, где у земли сходились два лепестка, уходящие в небо. Судя по обработке самого купола, создавалось впечатление, что начали его созидать Великаны, у подножия высились огромные прозрачные блоки правильной формы, а потом они мельчали, то ли по соображениям технологии, то ли потому, что мельчали созидатели.

Нечто подобное я заметил ещё на тропе, она была когда-то много шире, судя по просеке и плотности почвы, на которой до сих пор была лишь скудная трава, а дальше стеной стоял лес. Лишь позже я догадался, что широкая магистраль — это путь Великанов к Ареалу, а остаточная тропинка — это дорожка Карликов, бегущих оттуда.

Идя по тропе, я заметил огромное плато в стороне, оно было совершенно голым, хотя в долине рос великолепный лес, в основном хвойный. Я вспомнил о нём много позже, когда мне удалось узнать о происхождении материала, из которого создавался купол. Проектов было несколько: предлагали образовать огромный пузырь на поверхности моря и потом его заморозить; создать озеро из раскалённого стекла и выдуть огромными горнами гигантский колпак, — и то и это отпало, так как не предусматривало проникновения под колпак. Тогда решили собирать колпак из прозрачных блоков. Вначале это был естественный, потом искусственный хрусталь. Много позже обнаружили на плато гигантские залежи рогов и копыт, из которых варили нечто вроде клея, дающего после застывания мутные блоки необходимой формы.

Ночь внутри строящегося колпака была особенно темна и тепла. Судя по звукам, где-то недалеко находились живые существа, которые посапывали, храпели и вскрикивали во сне. Я наткнулся во тьме на некое сооружение, снаружи гладкое и привлекательное, наощупь проник внутрь, почувствовал себя там очень удобно, словно занял наконец своё место, и скоро заснул.

Как долго я проспал, неведомо. Нетрудно догадаться, что я попал внутрь памятника Великой Случайности, а так как это была бывшая реторта из ЦИПРОНОЧЕЛа, то внутри её был особый климат, благоприятный, но, скорее, не для роста, а для летаргического сна, во время которого искажаются все физиологические процессы. Отсюда все временные смещения, заметные в моих записях.

Как ко мне относились внешние обитатели – «непотомственные»? Возможно, увидев меня на рассвете внутри чудесного памятника, они вспомнили о чуде непорочного зачатия.

Я предполагаю, что, пока я спал, сменилось несколько поколений непотомственных, и на меня стали смотреть уже как на неотъемлемую часть памятника. У непотомственных не было памяти, в которой бы хранились предания, и все слухи, судя по слухам, были занесены с материка, либо взяты с потолка вместе с упавшими околпачивателями, либо были записаны вилами по воде стараниями водолазов.

Иногда меня мучает совесть, ведь я занимал то место, где кто-то непотомственный мог расти и развиваться!

Однако непотомственные ничуть не завидовали мне и не мешали писать, полагая, что этого всё равно никто не прочтёт.

Но непромокаемые решили иначе, им для достижения их целей свидетели были ни к чему. Водворив меня внутрь памятника, где я на их памяти не был до этих пор, они успокоились, причём навсегда, так как в этот момент околпачиватели замкнули колпак, и дышать под колпаком стало нечем.

В этот же момент водолазы хватились, что от них ушла вся вода, и стали нагнетать воздух внутрь колпака, чтобы вернуть воду. Но для непромокаемых непотомственных было уже поздно...

Я вспоминаю тот момент, когда я впервые вышел из памятника Великой Случайности. Со всех сторон стекались любопытные непотомственные. Некоторые становились на колени. Некоторые останавливали толпу, исступлённо крича, что ничего сверхъестественного не происходит, просто вылез кто-то и всё, возможно, артист. Кто-то, помню, сказал: «Давай я ему врежу!» Но его остановили, увещевая, что и врезать нехорошо, да и мало ли кто. Все ждали от меня либо чуда, либо окончательного разоблачения чудес. Чуда я не совершил, так что вскоре внимание ко мне ослабло и, в конце концов, исчезло вовсе с поколением, которое ещё помнило моё утробное состояние. А я всё ждал, о чём бы написать, а писать всё было не о чем...

Помню я и тот момент, когда меня освободили первые водолазы, проникшие внутрь вслед за воздушными пузырями. Меня откупорили, вывели на свет и стали допрашивать, делалось это через переводчика, так как сами водолазы не владели языком непосредственного общения.

Я очень дрожал после последнего разговора с непромокаемыми и не знал, спасся ли я или меня ждут очередные невзгоды.

И когда переводчик передал вопрос – кто я и что, я попытался ответить наиболее непричастно ко всем возможным событиям и, заикаясь, выдавил:

– Ллирик я...

Переводчик нырнул к водолазам, стоящим под остаточной водой, и перевёл:

– Я Кирилл!

Ужас сковал меня. Что это значит? Водолазы тотчас сняли свои шлемы и с обнажёнными головами уставились на меня. Эк, как обросли под водой, подумал я, глядя на них сверху вниз, и сделал им знак надеть шлемы, что было как раз вовремя, иначе бы они нахлебались воды и тоже исчезли раньше времени. Так, подумал я, в них, видимо, генетически заложено почтение перед неким Кириллом, однако, как быть дальше мне, было неясно.

Тем временем переводчик вынырнул, он не проявлял никакого почтения, ибо, зная язык, абсолютно был чужд всякого генетического этикета. Следующий его вопрос сводился к тому, что я здесь делаю.

- Пишу! ответил я, осмелев.
- Ушип! перевёл нырнувший переводчик.

Водолазы сочувственно покачали головами. Всё это соответствовало преданию, ведь если я Кирилл, то я был растоптан, то есть, говоря деликатно, слегка ушиблен. К ушибленному вопросы должны быть уже полегче. И верно, переводчик указал куда-то вверх и спросил, что это такое. Я увидел крупный зелёный лист, приставший к борту моего подсыхавшего памятника.

- Лопух! ответил я, глядя сверху вниз на главного водолаза.
- Хупол! перевёл нырнувший переводчик. Водолазы согласно закивали головами, им понравился мой ответ. Тогда переводчик передал мне вопрос, чем я занимался внутри той сферы, из которой меня изъяли.
- Я рос, рос ум... ответил я как-то неопределённо, стараясь восстановить традиционное предание непотомственных о пребывании внутри памятника ВС.
- Мусор, сор я! нырнув, перевёл переводчик. Водолазы потеряли ко мне всякое уважение и наглухо закрепили свои шеломы. Следующий вопрос они задали уже только из вежливости, надо ли им продолжать изгнание воды в том же духе. Мне показалось, что я уловил суть их языка. Все слова отражались в воде и зеркально входили в уши водолазов.
 - О да, надо! воскликнул я.
- О да, надо! воскликнул переводчик. В последующей беседе, протекавшей в атмосфере полного взаимопонимания, выяснилось, что нагнетание воздуха уже не вытесняет воду. Я высказал предположения, что околпачиватели снова расколпачивали колпак. Теперь воздух проходит насквозь, не вытесняя воды. Почему они расколпачили? Нетрудно догадаться. Замкнув колпак, они увидели, что сами себе закрыли доступ внутрь колпака. Что говорила их прежняя практика? Ещё раньше они практиковали кроме парашютных спусков на внутреннюю твердь Ареала ещё и паразитные полёты.

Мне приходилось слышать об этом, делалось это очень просто. Из колпачного материала (похищенного) делался индивидуальный или групповой колпачок, двухэтажный, второй этаж заполнялся восходящим снизу курительным дымом, на первом же помещался экипаж. Колпачок вместе с экипажем взлетал при посредстве дыма и блуждал над планетой, пока дым не остывал, и экипаж высаживался где-нибудь в горном районе (ниже дым не опускался). Этим способом и воспользовались, по-моему, околпачиватели, оказавшись в изоляции от внутренностей Ареала. Для этой цели им, то есть наиболее предприимчивым из них, понадобился материал, разгерметизировавший Ареал.

 Однако, – продолжал я, – если воздух заменить более подвижным газом, можно скоррелировать скорость входящего и исходящего, воздействующую на остаточную воду.

В свою очередь водолазы предложили разложить воду электролизом на водород и кислород, реакция будет бурной, и газы, не успевая уходить в бреши, вытеснят воду, которая ещё не разложилась. Для вытесненной воды надо пробурить скважину, лучше всего сквозь всю планету, чтобы не испортить окрестности самого Ареала.

Я начал мучительно соображать. Если прорыть скважину сквозь планету, вывести её на конце, противоположном нашему, то этот конец станет как бы соплом реактивного (ЖРД) двигателя, планета наша сдвинется с орбиты, утратит наше светило и погрузит всех обитателей в длительную ночь. Вслед за светом иссякнет тепло... Я не был искусным вычислителем, но, прикинув в уме по формуле Мещерского, я с облегчением вздохнул, что массу Земли не сдвинешь истечением таких лёгких газов, да и сомнительно, чтобы они миновали центр планеты. На всякий случай я прикинул в уме ещё один расчёт, поставив в уравнение вместо массы всей Земли массу родной земли, памятный ландшафт, с берёзами, заливным лугом, спокойной чистой рекой, полоской домов на окраине — и ужаснулся — как легко это всё утратить, стереть с лица земли, закоптить дымом, залить отработанными водами.

Я запротестовал против отвесной скважины. Длительность её бурения, да ещё этот центр, не-известно, твёрдый он или жидкий, да ещё что там за Ареал, каковы наши антиподы, как бы таким образом не попасть от них в зависимость, тогда весь проект Независимости коту под хвост. Это показалось убедительным, я и не стал нагнетать доводы, не стал доводить их до потери орбиты и нарушения законов Кеплера. Сошлись на двух скважинах, противоположно направленных, просверленных под тупым углом друг к другу так, что их выходы будут не очень далеко от Ареала, но диаметрально противоположны. В худшем случае на какой-то период планета ускорит либо замедлит скорость вращения вокруг оси.

К тому же станет возможным соревнование между бригадами водолазов, бурящих две противоположные скважины. Этот довод привёл в восторг водолазов и воодушевил их. Мне казалось, что они уже не считают меня ни легендарным Кириллом, ни свихнувшимся летописцем, что мы нашли общий язык. В подтверждение своим мыслям о взаимопонимании я воскликнул:

- Шабаш!
- Шабаш! перевёл переводчик по всем правилам палиндромов. Услышав нечто дьявольское в моём заключении, водолазы пожали скафандрами, посовещались и решили упрятать меня туда, где меня обнаружили, так как их снова взяло сомнение, не являюсь ли я существом магическим, способным нанести вред их предприятию, так что лучше всего вернуть меня в мой саркофаг, чему весьма содействовал переводчик, которому уже невмоготу было нырять туда-обратно, переворачивая слова.

Меня вернули внутрь памятника и на всякий случай закупорили. Водолазы тут же начали бурить и разлагать воду посредством высоковольтного электричества. Только тут меня осенило, что они запалят реакцию, остановить которую уже не смогут, их будет ждать та же участь, что и непотомственных, – исчезновение. Я пытался делать какие-то знаки, но снаружи уже ничего не было видно, меня обволакивали пары, сверкали разряды, слышался гром, шум вскипающей воды, я чувствовал себя внутри яйца, опущенного в кипящую воду...

Как ни уютно было мне внутри гениального сооружения, мне казалось, что выделяющийся при гидролизе водород поднял наш Ареал над миром и мы парим в стратосфере, подобно гигантскому инопланетному летательному аппарату. Где-то мы сядем?